

**Из бесконечного ряда посягательств на укрощение человеческого духа, которым подверглась наша страна в годы сталинского произвола, сам собой выступает сейчас акт, который можно назвать укрощением русского языка и русской речи. Акт, последствия которого еще не осознаны. Потери не регистрируемы. Русская речь ведет свое существование, она служит человеку, но в ней давно нарушены и содержание, и форма того совершенного языка, который мы зовем языком Пушкина, Блока, Гумилева, Достоевского и Толстого. Кто-нибудь, может быть, и воскликнет, что не было, дескать, никаких приказов, санкций, реформ о переменах такого рода, но это не будет ответом по существу, ибо возможны перемены и без санкций, как обвалы под влиянием общих катастроф.**

Нина Велехова

# Укрощение языка

ЯЗЫК изменился, ибо с ним произошло то же самое, что произошло с нами. Язык за годы сталинизма потерял столько же, сколько потерял человек, и ему, как и человеку, что-то должно помочь подняться. Во время оно нас учили, что язык — он и функция, и средство общения, и орудие этого общения, и все это была схоластика, от которой отвернулась бы с негодованием и средневековая культура. Нет, язык — это духовный двойник человека, его второе «я», и ценность языка не меньшая, а большая из ценностей человека. Язык доказывает превосходство духовного в человеке над материей и природой, и сам Маркс не отрицал идеальной природы языка, а, напротив, сводил к ней все выголке свойства речи, утверждая, что язык — средство объективации идеального. Он признавал за языком и самостоятельность, относительную, правда, но все же самостоятельность, и собственные закономерности развития. Язык, писали Маркс и Энгельс, есть действительное, существующее сознание и возникает подобно сознанию тогда, когда в нем есть настоятельная необходимость. И именно эта его сторона стала предметом укрощения. Вместе с подавлением духовного начала в самой жизни подавлялась свобода существования языка. Это изменение места и значения языка как в личной, так и в общественной категории, никем не замечалось, о том, что с ним реально творится и откуда идет беда с поэзией, драматургией, прозой, никто не догадывался и не пробовал разобраться.

Ведь если продолжить железные установки на обреченность идеализма, на то, что только материализм перспективен, а идеализм всегда реакционен так, что дальше некуда, то и языку остается развиваться лишь в его низшей функции — в средствах утилитарного сообщения людей друг с другом. Значит, выше материального ни язык, ни мысль никогда (в понимании рьяных популяризаторов) не поднимутся. Но когда он лишается идеального, наш язык, он перестает быть творцом также и материальных ценностей. Потому что он их основа, потому что он мысль, он вестник мозга, интеллекта, идеальных высот сознания, творящих жизнь.

КАЗАЛОСЬ БЫ, невозможно расчленить язык и отбросить часть его, ибо он один при всем обилии своих функций. Но посмотрим, что делалось с языком в нашей культуре начиная с первых лет сталинизма. Язык был ограничен в полноте своего развития сразу, вместе с разделением литературы на пролетарскую и попутическую, с тем, что в новое понятие литературного языка закрылся доступ культуре, литературе и поэзии предреволюционного периода, именуемого Серебряным веком и идущего от Пушкина и Тютчева. Изобилие направлений, стилей и форм поэтического языка, признанного во всем мире, было вплоть до 1985 года под запретом в нашей стране; Достоевский и Толстой, Короленко, Леонид Андреев пропускались «со скрипом», непременно сопровождаемые комментариями о заблуждениях великих писателей. К философии рубежа веков нет и до сих пор свободного доступа.

Филологи отмечают, что в послереволю-

ционные годы русский язык перестал пополняться терминами философского, политического и экономического словаря из других языков, как он пополнялся в конце XIX века. Все это вело к сужению русла, по которому шло общее развитие речи. А потом уже пошло повальное уничтожение самих носителей интеллектуального языка во всех других областях жизни — Бухарина, Чапыгина, Шпета, Вавилова и людей их среды, их уровня развития; потом истребление интеллектуалов в театре и других искусствах вместе с формализмом: потом процесс обстругивания языка стал повседневной задачей редакторов в редакциях и книгоиздательствах, где самоуверенным молодым авторам запрещали употреблять сложные обороты речи и предлагали равняться на уровень понимания сторожей и пенсioenеров, лгузующих семечки на лавочках перед парадными. Здесь нет никакой гиперболы: это было. Над этим ядовито посмеялся поэт И. Сельвинский:

...Не для масс  
Сия философская сыть.  
Народную толщу нужно сейчас  
Манной кашей кормить.

Но манной кашей кормили не только толпу, но и элиту, сферу искусства: в нем шел явный процесс упрощения, поглощения слова по-

этического (и театра поэтического) прозаическим. Драматургия из вида поэзии, чем была искони, перешла на простейшее разыгрывание факта в лицах. На печальную известности этапе 40-х годов самс понятие «поэтический театр» ушло из языка, из обихода театров, разбитое вместе с формализмом. И сам высокий лексикон поэзии исчез из мышления режиссеров. Властно воцарялась сермяжная простота, театр повсеместно ходил, так же, как редакции (по выражению Сельвинского), в лаптях. И пьесы стали обходиться без вымысла, без фантазии, без монологов и других словесных «излишеств». Все поглотившее общепотребительный язык. Глубокие ресурсы словесных хранилищ покрылись пылью за ненадобностью. Красоту слова стали относить к высокопарности, даже к фальши. Все помнят появление и воцарение «бормотального реализма» на сценах, которое считалось признаком правдоподобия и сгубило не одного хорошего актера.

Конечно, не все поддались этому процессу опрощения, потому что жизнь духа неистребима и развитие культуры совершается даже при самом невыносимом гнете: вековые культурные традиции не дают художнику смириться перед господством бессмыслицы и безнравственности. Но ущерб, нанесенный культуре языка, не может остаться без особо пристального всматривания в систему его проявления.

Передо мной лежит рукопись одной книги, посвященной театру и задержанной издательством пять лет назад. Любопытен криминал, извлеченный из ее словесного состава редактором. Он требовал замены слов такого рода: символ, вдохновение, наитие, интуиция, подосзнание, литургия, соборность, ритуал, пьета, библия, нерукотворный, божественный, озарение, откровение, богоматерь, милосердие, инобытие, таинство, абстрактный и тому подобные. Что это значит? Да то, что сами понятия и проблемы, которые обозначены этими словами, последовательно выбрасывались из употребления. Их надо было выкорчевать из области мышления, из сознания. Язык, сознательно заниженный, сокращенный, элементаризованный, не терпел наличия своего антипода, он жаждал равенства, нивелировки, обезлички. Запрет на слова, передающие сведения о глубинных ценностях внутренней жизни человека, возникал, как шлагбаум, на пути к самим этим глубинам.

Не так давно я, к своей радости, нашла интереснейшую статью филолога Г. Гуссейнова в отличном журнальчике карманного формата «Век XX и мир» — статью о катастрофическом оскудении языка в национальных республиках, где всегда сталкиваются два языка и ни один не истощается в своей глубине. Это — печальное следствие многолетнего давления на высокую деятельность интеллекта. Гуссейнов говорит о девальвации «верхних этажей» языка, именно тех, которые «ответственны за хранение фундаментальных нравственных ценностей». И люди чем дальше, тем больше переходят к языку низших потребностей.

ЧТО ЖЕ приходило в нашу речь нового, вытесняя «ненужные» тонкости и нюансы, а также «антинародные идеалистические» пережитки буржуазной литературы и философии?

Так же, как в судьбу человека, в язык входило упрощенное понятие о пяти человеческих чувствах, упрощение почти варварского масштаба. Беру наугад реплики из разных пьес и рассказов:

- «— Где твой отец, матрос?
- Сдан мною в Чека.
- Мой отец белогвардеец, враг народа. Отрекаюсь.
- Прошу не считать такого-то моим братом...»

Естественные чувства подавлялись потому, что они тщились защитить от дегуманизации сознание человека. Но этот новый строй упрощенных чувств присваивал себе громкие понятия долга, патриотизма и доблести.

Таким образом, вытесненная и сведенная на нет речь чувств, переживаний и ценностей подменялась авторитарным и бездушным словом, словом, которое не с чем духовным не связано, но подставляет вместо него жестокость рационалистического контроля над чувствами.

Что еще вошло в язык? Полный, беспрекословный атеизм. Но вместе с ним язык отрицали от прошлого, от истории, а без истории язык рискует многим. В нашей стране пренеб-

регли истории, так как не изучалась в ней философия эры христианства. Вместе с атеизмом воцарилось презрение к целой исторической эпохе с ее философией культуры, духа, нравственности и идеальных ценностей; о том, как важна эта эпоха для понимания общего развития, писал П. Я. Чаадаев и пишут сегодня историки нового поколения. Искаженное представление о деятельности монастырей, изощражаемое с точки зрения безоглядной антирелигиозной пропаганды, — а ведь монастыри были ко всему прочему носителями знаний, рассадниками книг и любви к философии — было единственным видом отражения нашей древней культуры. Библия не только не входила в разряд изучаемых источников культуры, но исчезла из популярных словарей русского языка. А не зная библейских и евангельских сюжетов, человек нового общества не мог разобраться ни в смысле великой живописи Возрождения, ни в сокровищнице русской иконописи. Исследователи русской словесности лишут, что формы исповеди и проповеди, зародившиеся вместе с христианским мировоззрением, создали русское литературное слово и дали нам Достоевского, и Толстого, и Блока, и Есенина, и Пастернака, и весь Серебряный век с его стремлением постичь человека во всей его сложности.

С этой эпохой связано многое, но возьмем только один вопрос, который, как он ни вытравлялся из нашего мировоззрения, но все больше и больше входил в реальность, притом именно в эпоху сталинизма. Это вопрос о страдании. Главное, что подвергалось гонению вместе с религией.

СТРАДАНИЕ выпало на долю нации, триста лет выполнявшей свой долг заслона Европы от кочевников, которая изумительно расцвела и собрала все плоды культуры, прогресса и искусства, а Россия, собрав плоды страдания и терпения, вырастила на этой почве свою культуру, свой выстрадавший гуманизм и духовную красоту. Она и сейчас выстрадала свое освобождение, свой выход из тьмы сталинизма, но именно несший с собой непрекращаемое страдание сталинизм запретил искусству и литературе тему страдания. Как порочная и антигуманная (!) идеология, она была дискредитирована повсеместно.

Со многими вопросами, касающимися самых глубоких сторон жизни, у нас плохо обстоит дело, но, наверное, нигде нет такой ерунды, как в вопросе о страдании. Только желание доказать уже в 30-е годы, что мы достигли такой жизни, где человек не может даже думать о страдании и других отрицательных сторонах бытия, могло породить странную тенденцию снять вопрос о страдании. Отрицание страдания влечет за собой отрицание сострадания, милосердия и добра. Убежденный во вреде сострадания легко становится и палачом, и идеологом бесчеловечности. И тот многолетний террор, который снес с лица земли миллионы невинных людей, существовал под знаком презрения к страданию.

Другая причина отрицания сострадания и добра таится в ставшей привычной ненависти

к религии, вернее, в боязни ее возврата в головы людей, которых так удачно вместе с религией лишили нравственной философии.

В чем таился исторический гуманизм христианства, наступившего после язычества? Нетрудно, наверное, догадаться: в возвышении человека над сядами природы. Что же следует за возвышением его: хвастовство, самолюбование, возвеличение? Скорее обратное: доброта и смирение. Но так же, как страдание, эти понятия были заменены своей полной антитезой. Вот словесность эпохи культа: убить и еще раз убить. Не сдается — уничтожить. Вез пощады. Раздавить, как гадину.

Тот, кто жил в то лихое время, помнит речевой облик времени не по стихам, но по наступающей из всех углов, окон и щелей, как нечисть в «Вие», лексике газет, радиопередач и общих собраний: убить, расстрелять, донести, чтобы спасти революцию.

ЭТО лексикон не военного времени, даже не гражданских войн и не конфликтных ситуаций. Это язык газет мирного времени, если можно было по существу считать время бессудных ссылок, пыток и расстрелов, скрытых от людских взоров, мирным. Все жили почти обыденной жизнью, только переполненной тай-

ным страхом, который делал все в человеке безликим, начиная от ощущения себя самого. Человек уже в 30-е годы хотел мира, прекращения тайной войны, откуда-то идущей на него, как смерч, и поэтому обучился быть послушным даже в мыслях и говорить те слова, которых от него требовали.

То есть сам язык подвергался обработке ненавистью и устанавливал в сознании человека прямую связь между убийством ближнего и своей жизнью. И вот мы пришли к ответу: в те годы сформировалось «новое евангелие» от Сталина. Если христианство обещало спасение через свою кровь, кровь идущего на муки, чтобы умереть «за своих ближних», то теперь спасение обещалось через чужую кровь — близких, далеких. И это стало Словом, вошло в мозг, вместо запретного стало требуемым. Официально признанным «словом народа». Прочитайте газеты 37-го и 38-го годов и увидите, что не правительство требует расстрелов, а народ. Конечно, так не было на деле, но предлагалась такая версия: народ требует от правительства «расстрелять врагов, как поганых псов».

А может быть, возразят мне, это страшное слово все-таки ушло из прекрасного русского языка, так скажем, лет через 20? Что, впрочем, спрашивать, лучше посмотрим, изменился ли язык общих соборов, форумов, пленумов. Возьмем 1958 год. Общомосковское собрание писателей. Есть прямая запись, сохранившая язык поношения Бориса Пастернака.

Не буду приводить цитат: желающие могут познакомиться с высказываниями наших культурных лидеров того времени в публикации Н. Прошунина «Предостережение» («СК», 29 октября 1988 г.). Удивительна не только жестокость, но и другое: трафаретность этого газетно-матричного языка. Привычка к бездоказанному сокрушению чужой жизни, чужого творчества и счастья, душевного покоя — сокрушению, ничего не дающего обществу, кроме потери и утрат, стирала личность самих сокрушителей, иссушивала их интимную культуру чувствовать и мыслить.

Не берусь бранить этих ораторов, не зная, какие обстоятельства толкнули того или другого на трибуну. Но уровень речи... Что с нею стало... Почему, скажем, писатели называют своего товарища, решившегося на поиски причин трагедии жизни, «собакой, лающей на идущий караван»? Какое странное сходство сравнений: там, в 30-х, были «поганые псы», в 50-х — «собаки» и «пустолайки»... и вот примерно такая же лексика в 80-х.

Значит, действительно верно, что само слово правды превратилось волей злого гения в напрасно лающую собаку, которую все пытались заставить молчать. И в самом деле, Правда металась, как этот добрый защитник человека, оскорбляемый вместе с человеком и изгоняемый из общества, а слово применялось для усиления ее травли.

Кризис речи как кризис выражения духовной жизни молодежи казался, как ни странно, когда разрешили свободное развитие сло-

ва в песне, на эстраде. В любой программе рок-музыки содержится такое ничтожное количество слов, что их нельзя даже назвать песней. Но не примите это за отрицание рока. Я говорю о другом: рок — показатель того, что делается со словом, выразитель. В музыке рока певцы бьются в конвульсиях и корчах, приходя в бесноватое состояние и отражая, быть может, невольную боль душевной немоты, их охватившей, кризис болезни слова.

И ТАК, средний человек, ищущий выражения своим переживаниям, не имеет культурных форм, он растерял их. Язык замкнулся на необитаемом острове в годы культа и застоя.

Но именно тогда получил будущее один непредвиденный фактор.

Активный приток в речь языка самых низких этапов сложился в тюрьмах и лагерях. Пишущие о Колыме и Воркуте не могут скрыть своего отвращения перед господством темной и дикой стихии, которая шла с этим потоком сквернословия и мата, ставших нормой обращения в подконвойными, с безгласными рабами, в которых превратили народ. «Неисчерпаемая оскорбительность русской ругани», — сказал писатель-зек. Даже жаргон воров и проституток брезгает им. Мат не влился в жаргон. Но в речь второй половины XX столетия мат внедрился, и так, что с темных улиц и трущоб переместился в семьи и школы. Этот язык, как будто последнее наследие мрачных времен культа, призван уничтожить в человеке остатки гуманистического мышления о нем самом, о сокровенной стороне бытия; это голос древней татарщины, но он и поныне служит нашим современникам вполне приемлемым для них способом выражения мыслей. Среди «Колымских рассказов» В. Шаламова есть рассказ «Сентенция». Его герой говорит, что он забыл все слова, что он давно впал в жизнь полусознания, и его язык «стал беден, как бедны были чувства, еще живущие около костей». Ничего, кроме мата и слов примитивной команды, он уже не знал, не слышал. И вдруг к его полному внутреннему потрясению он почувствовал, «что вот тут — я это ясно помню — под темной костью родилось слово, вовсе не пригодное для тайги... Я прокричал это слово, встав на нары, обращаясь к небу, к бесконечности. Сентенция! Сентенция! — бросал я прямо в северное небо, в двойную зарю, еще не понимая значения этого родившегося во мне слова». Он долго не понимал, герой Шаламова, с чем связано появление этого слова — слова из мира прошлой жизни, из мира культуры, человечности, гармонии. Это слово восхитило его, но оно же и заставило содрогнуться от страха, потому что он забыл о том мире и не знал, как надо возвращаться к нему. Но жизнь стала возвращаться к нему через восстановление слов человеческой речи...

Сколько раз вы шарахаетесь на улице от сквернословия и от привычности, с какой оно применяется в языке, соседствуя с любыми оборотами речи? С любым настроением беседующих: они не находятся в состоянии ярости, они не бранятся матом — они просто разговаривают на языке мата. Да разве только они? А литература, а сцена? И не какая-нибудь заштатная: во МХАТе на Тверском бульваре на спектакле нашего смелого новатора речи А. Дударева «И будет день» («Свалка») молодцевато снесена граница между языком искусства и матом — языком той свалки, на которой происходит действие пьесы. Так прививаются искусству симптомы распада речевого облика человека наших дней, нашего соотечественника. А телевидение? И оно не отстает: в диалог «Крейцеровой сонаты» по Л. Н. Толстому, который ведет популярный артист О. Янковский, вдруг врывается матерная брань. Это актеры осовременивают великого писателя земли русской, так много сделавшего для культуры своего народа.

Философы считают язык показателем уровня культуры общества. Если так, то у нас некультурное общество.

Немота не только следствие запрета говорить. Она — результат распада единства человеческой личности, результат механического разъединения его деятельности и мышления, что и было главным последствием сталинского насилия над самим национальным организмом. Массовое сознание в эпоху сталинизма утратило естественную жизнь. Оно было орудием антигуманных целей. И то, что спасает от рабства — язык, — было укрошено вместе с ним. Рискуя утверждать, что человек получил иной язык — ущербный, искаженный, обнищавший: процесс этого обезьячивания зафиксирован в приведенном мной рассказе «Сентенция». Но личность, индивидууму легче проходить процесс возврата истинного языка, массовое сознание им овладеет труднее. А это стоит перед нами всеми как неотложная, но труднейшая задача.